

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ТРУДЫ
ПО
РОССИЕВЕДЕНИЮ**

Выпуск 5

Москва 2013–2014

О.В. БОЛЬШАКОВА

***НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН:
ЗАРУБЕЖНАЯ РУСИСТИКА О ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ¹***

Внимание мировой общественности приковано сегодня к юбилею Великой войны 1914–1918 гг. Естественно, не остаются в стороне и историки. Вопросы исторической памяти, справедливости, ответственности, казалось бы, давно уже решенные, вновь вынесены на повестку дня. Перед историографией Первой мировой стоит сегодня новая масштабная задача: написать транснациональную историю войны², преодолев тем самым узкие рамки национальных историй, которые к тому же сосредоточены главным образом на изучении Западного фронта. Важную роль в решении этой задачи играет зарубежная русистика, «возвращая» Россию в общемировую историю событий 1914–1918 гг.³

Изучение Первой мировой войны британскими и американскими русистами только начинает набирать обороты. Исследования пока не так многочисленны, как хотелось бы, но большинство из них можно отнести к по-настоящему первоклассным (5; 6; 10-12; 16; 17; 20). В отличие от отечественной историографии, сосредоточенной на фактологии, в англо-американской традиции привыкли оперировать теориями и концепциями, опираться на систему аналитических категорий. В нашем историко-научном дискурсе они либо, к сожалению, отсутствуют, либо занимают маргинальное положение. Уже одно это кардинально отличает англо-американские исследования Первой мировой войны от российских – в лучшую сторону. Тут, правда, многое зависит от понимания задач исторической науки. Если считать, что дело историка – реконструировать карти-

¹ Работа выполнена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13–01–00061.

² Первая попытка уже сделана в трех томах Кембриджской истории, вышедшей в начале этого года (4).

³ Следует отметить прежде всего международный исследовательский и издательский проект «Великая война и революция в России», рассчитанный на десять лет. – Режим доступа: russiasgreatwar.org/.

ну прошлого («как это было на самом деле»), не отдавая при этом себе отчета в невыполнимости миссии, то пальму первенства следует отдать труженикам, извлекающим горы материала из провинциальных архивов и компилирующих эту массу в фундаментальные (и не очень фундаментальные) тома. При этом отсутствует рефлексия по поводу того, что даже простая компиляция – тоже своего рода интерпретация, основанная на представлениях, взглядах, убеждениях самого компилятора. А что уж говорить об историке, который выстраивает на основе документальных свидетельств повествование, обладающее внутренней связностью логики и хронологии.

Признавая необходимость архивного поиска, отгадим должное действительно тяжелому (и одновременно захватывающему) труду по сбору исторических фактов. Но все же интерпретации, а не повествование в духе летописца Нестора занимают в сегодняшней науке главенствующее положение. С этим у нас большие проблемы: десятилетия диктата марксистско-ленинской идеологии привели к тому, что историки разучились мыслить самостоятельно, да и в массе своей утратили к этому вкус. Те же, кто склонен к теоретизированию, разрабатывают абстрактные схемы, в которых история теряет свою особую, только ей присущую притягательность и становится попросту неинтересной. В этом смысле англоязычная (и в большей степени американская) историография России заслуживает особого внимания, поскольку с успехом придерживается золотой середины: работы русистов интересно читать, но они в то же время опираются на определенные теории, выдвигают гипотезы и создают собственные концепции.

Главная трудность при восприятии работ англо-американских историков-русистов заключается в том, что они оперируют разветвленной системой понятий о социуме, неведомых нашей исторической науке. И особенно сложной ситуация выглядит, когда речь идет о гендере – территории незнакомой и чуждой, вызывающей у нас неприятие и отторжение, как что-то даже малоприличное.

Принято считать, что отношения полов – дело сугубо частное (хотя в СССР оно и выносилось на рассмотрение парткомов, профкомов и нарсудов), и понять, причем здесь власть и иерархическая структура общества, о которой столько говорят специалисты по гендеру, нам сложно. В нашем научном обиходе представления о власти и о том, как она функционирует, обычно сводятся к «вышестоящим организациям» и конкретным начальствующим лицам. То, что отношения между полами могут быть не только интимными, но и социальными, что они претерпевают изменения во времени, как-то остается «за кадром». А ведь именно эти отношения формируют так называемый гендерный порядок общества – основу его стабильности: это не только иерархия семейных отношений, но и общественное разделение труда, система предписанных норм социального

поведения мужчин и женщин и многое другое. Фактически это первооснова социальной структуры, а гендерная идентичность – первичный статус человека. На нее наслаиваются национальные, социальные и политические составляющие, соединяясь в нерасторжимое целое, окрашенное индивидуальной субъективностью.

В годы крупных социальных трансформаций гендерный порядок тоже испытывает потрясения. Особенно значительные изменения гендерных ролей, норм и стереотипов фиксируются историками в эпоху кризиса начала XX в., кульминацией которого явилась Первая мировая война с последующими революциями и гражданскими войнами. Исследователи говорят о дестабилизации в условиях первой в истории человечества тотальной войны традиционных моделей мужественности и женственности (маскулинности и фемининности, если уж обращаться к гендерной терминологии). Именно тогда был поставлен под вопрос традиционный стереотип женщины-матери, хранительницы домашнего очага. Викторианское разделение на публичную и домашнюю сферу (еще одна важная категория гендерной истории) испытало первый жестокий удар, хотя и не осталось полностью в прошлом. Женщины вышли из дома, чтобы заменить ушедших на фронт мужей на производстве и в поле, стать медицинскими сестрами, наконец, принять участие в боевых действиях. Они стали кормильцами семей и защитниками своих детей, обретя таким образом важную роль в обществе и «сделавшись видимыми» для государства. После окончания войны и «возвращения к нормальности» пути назад уже не было. Женщины стали частью нации, хотя в Европе и Америке и не получили той полноты прав, какую Временное правительство дало гражданам новой России.

Примерно такой была канва, по которой специалисты по женской истории вышивали картины быта и испытаний, принесенных Великой войной Европе. Эти исследования действительно вернули женщин в историю войны, показав их вклад в общее дело и одновременно поставив под вопрос традиционное представление о героизме военного времени как об исключительно «мужском» явлении. Однако гендерная история формулирует свои задачи гораздо шире – в том числе потому, что расширилось понимание войны как исторического феномена. Среди историков утвердилось мнение, что войну нельзя сводить к сражениям и «культу памяти павших», что следует обратиться к изучению ее воздействия на общество и тех трансформаций, которая она с собой несла (9, с. 1–2).

С введением в научный оборот категорий гендерного анализа стало очевидно, что война и, главное, ее репрезентации буквально пронизаны категориями гендера. Действительно, все знают, что война – дело мужское. Мужчины начинают войну, составляют планы сражений, воюют и, наконец, заключают мир. Женщины остаются дома, обеспечивая надеж-

ный тыл. Такое положение дел считается «правильным», представляет собой гендерную норму. Первая мировая нарушила эту негласную, но до сих пор действующую норму, которая отводит мужчинам господствующую, активную роль, а женщинам – подчиненную, пассивную. Более того, война выявила серьезные бреши в броне мужчины-воина, кормильца и защитника. Выяснилось, что мужчины, испытавшие в окопах массированный артобстрел, столь же подвержены неврозам и истерии, что и слабые женщины. Что мужской героизм – понятие достаточно проблематичное в условиях механизированной войны, где редко происходят прямые столкновения с противником, что героизм может быть и бессмысленным, как бессмысленной оказалась гибель в мировой войне цвета европейской молодежи (этой теме посвящена литература «потерянного поколения»). Что калеки Первой мировой не могут быть кормильцами семьи, а, напротив, ложатся на нее тяжким бременем... Иными словами, идеал настоящего мужчины «испытал атаки» со стороны реальности, прежде невиданные и немислимые.

Таким образом, гендерная история сделала «видимыми» для исследователей не только женщин, но и мужчин. Если традиционная политическая и военная история повествовала о событиях Великой войны, как бы не замечая половых различий, но на деле подразумевая мужчин, то теперь в центре внимания оказались концепты «военизированной маскулинности», воинского братства, вообще метафоры семьи и родства в применении к нации в кризисную эпоху войн и революций. Важными темами зарубежной историографии Западного фронта стали насилие (в том числе и гендерно окрашенное), сложные взаимоотношения между фронтом и тылом, вынужденные миграции населения, массовая мобилизация общества, изменение концепций патриотизма и гражданства в контексте военного опыта. В изучении этих тем гендерный анализ играет немаловажную, а иногда и ведущую роль.

Зарубежные русисты адресуются к тем же проблемам, используют те же категории, ищут ответы на те же вопросы, которые исследуются на материале Западного фронта. Возможно, то обстоятельство, что Россия «вышла» из Первой мировой войны в революцию и начала возводить на обломках империи первое в мире социалистическое государство, следует признать решающим при определении круга исследовательских проблем. Но вряд ли они могут кардинально отличаться от тех, к которым обращаются зарубежные историки. Даже ставя задачу написания «своей» (национальной) истории, не следует преувеличивать степень «особости» России (кстати, миф об особом российском пути успешно развенчал в своей монографии американский историк Питер Холквист, поместив события «кризиса 1914–1921 гг.» в общеевропейский контекст (11)). Между Россией и Европой не было китайской стены, пока ее не возвели в головах, а на

это ушел не один десяток лет. Да и проницаемость этой стены на деле была выше, чем думалось. Барьер, повторю, находился в большей степени в головах и оказался поистине губительным для нашей историографии, особенно когда она утратила твердые теоретические ориентиры марксизма-ленинизма. Новое – то, чем живет сегодня мировая историческая наука, – усваивается медленно и неохотно, с отставанием на 20, а то и на 40 лет. Претензии в данном случае нужно, конечно, предъявлять историческому образованию, но факт остается фактом: отечественная историография Первой мировой войны находится в плену оценок современников, ставит те же вопросы, которые дебатировались в годы войны и были признаны «научно значимыми» в советское время. Исследования, затрагивающие новые темы, крайне немногочисленны, а «гендерно окрашенные» можно пересчитать по пальцам.

Конечно, и для зарубежных историков по-прежнему актуальны проблемы, волновавшие современников событий: военные неврозы, пацифизм, «потерянное поколение». Наверное, эти вопросы и в России могли попасть в центр общественного внимания, но потенциальное «потерянное поколение» было смято революциями и гражданской войной, пацифизм получил ярлык чужой «буржуазной» идеологии, а военные неврозы померкли перед проблемой «революционного истощения» коммунистов, заполнявших клиники в годы нэпа. Поэтому далеко не все темы, разрабатывающиеся в историографии Западного фронта, следует бездумно заимствовать при изучении России. Тем не менее многие «европейские вопросы» заслуживают внимания историков-россиеведов – ответы на них позволят скорректировать выводы, сделанные на материалах Западного фронта, где реалии войны были иными.

Основополагающей структурной рамкой для понимания и исследования Первой мировой войны в зарубежной историографии является противопоставление фронта и тыла (англ. front / home front)¹. Эта изначально гендерно окрашенная дихотомия особенно остро ощущалась фронтовиками, причем всех воюющих держав, и превратилась в устойчивый стереотип. Считалось, что на фронте воевали «настоящие мужчины» – герои, защищавшие нацию с оружием в руках, а в тылу оставались женщины (далеко не всегда верные жены и подруги), и мужчины, по тем или иным причинам не попавшие на фронт либо избежавшие его, т.е. «ненастоящие». Противопоставление «героического» фронта «аморальному» тылу было поставлено под сомнение относительно недавно – с изучением повседневности, миграций и с развитием культурно-исторического подхода, который перенес эту жесткую дихотомию в сферу идей. Оказалось, что на

¹ В английском языке термин «homefront» как оппозиция «фронту» возник в годы Первой мировой войны для описания соответствующих реалий, когда линия фронта пролегла вдали от границ страны, а мирное население активно работало на войну и победу.

практике граница между фронтом и тылом достаточно размыта. Это особенно ясно демонстрируют реалии Восточного фронта.

Британский историк-русист Питер Гатрелл, занимавшийся проблемой вынужденных миграций населения в Российской империи в годы Первой мировой войны, неоднократно отмечал, что в условиях оккупации трудно провести границу между «фронтом» и «тылом», поскольку с врагом взаимодействует уже не армия, а гражданское население. При этом миллионы людей, насильственно перемещенных из районов военных действий, «несут с собой войну» во внутренние регионы России (7; 8). Да и вследствие подвижности фронтовой линии в боевые действия оказывались вовлечены те, кто по правилам должен был находиться за несколько километров от полей сражений – например, сестры милосердия. Их деятельность исследовала американка Лори Стофф. Обратившись к мемуарному наследию, делопроизводственной документации, отчетам прессы, она поставила под вопрос «миф о военном опыте», который традиционно считался исключительно «мужским». Стофф пишет, что немалая часть русских сестер милосердия работала не в стационарных госпиталях, как их коллеги на Западном фронте, а в «летучих» подразделениях. Условия их жизни были максимально приближены к боевым: им приходилось не только находиться под огнем, переживать газовые атаки, но и участвовать в бою. Поэтому опыт медицинских сестер во многом сходен с опытом солдат-мужчин – даже если речь идет о его мифологизированной форме (20, с. 111–112).

Однако в сознании людей различие между фронтом и тылом проводилось достаточно резко. Этот сюжет подробно исследован Карен Петроне в ее монографии, посвященной памяти о Первой мировой войне в СССР (15). Американская исследовательница фиксирует общность советского и западноевропейского дискурсов, ассоциировавших тыл с женщинами, которые вели аморальный образ жизни. Петроне выделяет в мемуарах участников войны ряд тропов, характерных как для Западного, так и для Восточного фронтов. Распущенность, разложение, венерические заболевания, проституция (в буквальном и переносном значениях слова) – вот те ключевые понятия, которыми характеризовали тыл фронтовики. Их суровая окопная правда неизбежно сталкивалась с «хитросплетениями» тыла, которые воспринимались как ложь и даже как предательство – причем и в России, и, к примеру, в Германии (вспомним Ремарка). Эта общность взглядов заставляет автора предположить, что в гендерных категориях понимали природу войны все классы и слои общества в воевавших странах (15, с. 125).

Приписывание женских черт человеку, стране, наконец, врагу с целью их принижения – механизм, хорошо знакомый историкам гендера. Особенно ярко он проявлялся в пропаганде военного времени. Во всех

воевавших державах женщины ассоциировались с тылом и олицетворяли негативные явления. Исследовательница модной индустрии Кристин Руэн отмечает, что стереотип женщины как «бездумной потребительницы» приобрел в России в годы Первой мировой войны (особенно в период дебатов о принятии закона против роскоши в 1916 г.) отчетливо антипатриотический оттенок. Наряду со спекулянтами и всеми, кто наживался на войне, модницы стали «внутренними врагами» империи, страдающей от нехватки самого необходимого и скорбящей по своим погибшим (17, с. 233–234). Это пример того, какой весомый вклад в противопоставление фронта и тыла в гендерных категориях вносила пропаганда. Интересно, что при этом фронтовики ассоциировали пропаганду с лживостью тыла – считали ее продуктом деятельности «тыловых крыс», распространявших самые невероятные небылицы. Даже такие патриотически настроенные мемуаристы, как А.А. Брусилов, постоянно упоминали о «газетной лжи».

Конечно, пропаганда – важный инструмент мобилизации населения на борьбу с врагом. Эта тема широко изучается в историографии Западного фронта, тогда как Восточный остается практически не исследованным. (Среди немногих работ см.: 1; 13; 14.) Такой аспект пропаганды, как визуализация войны, требует активного привлечения категорий гендерного анализа. Военная пропаганда эксплуатировала и образ родины-матери, и стереотипы идеальной женственности и мужественности. Как отмечает К. Петроне, все страны – участницы Первой мировой войны использовали для мобилизации мужчин на борьбу с врагом представления об идеальной маскулинности. В России, к примеру, популяризировался подвиг казака Козьмы Крючкова, убившего в одиночку 11 немцев и получившего первый в той войне Георгиевский крест. Лубки с изображениями «былинного богатыря» Крючкова рассматриваются зарубежными русистами как типичный образчик «русской» пропаганды (5; 15, с. 96).

Иное видение героического эпизода со «сверхчеловеком» Крючковым дается в книге Петроне. Исследовательница ссылается на роман «Тихий Дон», в котором Крючков выведен в качестве одного из персонажей. Обратившись к этому случаю, Михаил Шолохов пересмотрел не только привычный пропагандистский образ, но и само понимание героизма в Первой мировой войне. Писатель реконструировал эпизод той стычки с немцами, которая принесла Крючкову всероссийскую славу, подробно расспросив одного из ее участников. По его словам, Крючков был вовсе не героем, а типичным службистом, олицетворением жестокости и произвола царской армии. Тем не менее описание сражения, в котором Крючков отбил захваченного в плен казака и действовал с профессиональным хладнокровием, не дает оснований усомниться в его героизме. Однако свой подвиг Крючков совершил не в одиночку, а при участии других казаков, высланных перехватить немецкий дозор. Главный прототип Крючкова

Шолохов видел в том, что, будучи любимцем командира эскадрона, он с удовольствием принял единоличную славу и до конца войны бездельничал при штабе. Крючков предал фронтovou дружбу ради того, чтобы получить награду за участие в рядовой стычке, причем достаточно бесславной: обе стороны проявили животную жестокость и вышли из нее «морально искалеченными» (15, с. 96–97). В одном только эпизоде великого романа присутствует целый ряд проблем, изучаемых западной историографией Первой мировой: что такое военная пропаганда, насилие, военная жестокость, фронтová дружба, героизм. Сама многозначность текста Шолохова, как замечает Петроне, отражает чрезвычайную сложность представлений о героизме, мужественности, товариществе и братстве.

Признание многозначности социальных категорий и условности границ между ними – характерная черта современной зарубежной историографии Первой мировой войны. И историки-русисты также склонны считать, что тогда размывались гендерные дихотомии, происходила «феминизация» публичной сферы. Первая мировая война явилась, по выражению Питера Гатрелла, «моментом истины, когда принятые понятия о гендерных ролях и границах подверглись тяжкому испытанию» (7, с. 199). В условиях массовой мобилизации мужчин женщины заняли их место не только в крестьянском хозяйстве, но и в экономике в целом. Они вступили на новую для них территорию публичности, активно взаимодействуя здесь с государством – прежде всего в лице чиновничества. Гатрелл отмечает определенную «феминизацию» политического дискурса 1914–1918 гг., указывая, в частности, на возрастание в политической риторике удельного веса понятий о «домашнем». Прежняя историография видела здесь лишь «эпическое» и сосредоточивала все внимание на вопросах государственного переустройства и революционных устремлений.

Как социальный историк и специалист по миграциям населения, Гатрелл связывает усиление «семейного» компонента в политическом дискурсе с конкретным жизненным опытом – прежде всего с появлением огромного количества беженцев, которых необходимо было как-то обустроить, дать работу, пищу и кров. Исследователь подчеркивает вклад женщин, которые занимались этой незаметной работой, оставаясь при этом по-прежнему в тени. По мнению Гатрелла, необходимо серьезно изучать тему «гендер и война», причем не только такие «самоочевидные», по его словам, аспекты, как медсестринское дело, но и модели поведения мужчин на рабочем месте и на фронте, стратегии выживания пленных и беженцев и многое другое (7, с. 210–211).

Нет никаких сомнений в том, что реалии Первой мировой войны представляют собой настоящую кладь для женской истории. Однако зарубежная русистика занималась этим крайне мало. В монографии американской исследовательницы Лори Стофф «Они сражались за родину» (20)

рассматривается участие женщин в боевых действиях – феномен для того времени исключительный, особенно если учесть его масштабы. К 1917 г. в России, по статистическим данным, было не менее 6 тыс. женщин-солдат, что несопоставимо с остальными воевавшими державами. В какой-то степени этому способствовали женское движение, разворачивавшееся в России в начале XX в., давняя традиция участия женщин в войнах (в частности, в 1812 г.). Но главную роль сыграли не социокультурные факторы, а конкретные обстоятельства.

Описывая события, сопутствовавшие созданию летом и осенью 1917 г. в России (впервые в мире) отдельных женских воинских подразделений, Л. Стофф отмечает, что это был абсолютно новый способ использования женщин в войне. Он нарушал все традиционные гендерные нормы. Такое, по мнению исследовательницы, могло произойти только при наличии определенных условий, которые сложились к тому времени: тяжелое положение на фронтах и необходимость влить новые силы в измученную войной армию, а также наступившие после Февральской революции политическая анархия и развал общества (20, с. 1–2).

Стофф считает, что создание особых женских частей – социальный эксперимент, предпринятый главным образом в пропагандистских целях. Женщины должны были своим примером вдохновить мужчин и поднять их моральный дух, а также и пристыдить, если те уклонялись от выполнения своего патриотического долга – защиты родины. Предположение автора подтверждается и тем, с какой готовностью журналисты, фотографы и кинооператоры распространяли сведения о русских женщинах-солдатах буквально «от Петрограда до Нью-Йорка». Симптоматично, что после Октябрьской революции женские боевые подразделения почти мгновенно исчезли (20, с. 3–4).

В монографии Л. Стофф отмечается, что поначалу женщины участвовали в боевых действиях «в индивидуальном порядке». Они шли на фронт добровольно, причем большинство из них выдавали себя за мужчин. Многие хотели находиться рядом со своими мужьями, кто-то искал приключений, кто-то стремился реализовать себя в активной роли солдата, а кого-то толкало на такой поступок и личное горе. Тем не менее, пишет Стофф, женщины шли на фронт в основном из патриотических побуждений, что напрямую связывает их участие в войне с проблемой гражданства (citizenship).

По мнению автора, история женских боевых подразделений в России в годы Первой мировой войны позволяет не только «вернуть» женщин в историю и добавить новые штрихи к широкой панораме событий, но и поставить под вопрос исключительно «маскулинное» понимание войны, пересмотреть общепринятые представления о социальной роли женщин. Во время войны женщины все активнее участвовали в экономике, занима-

лись благотворительностью, ухаживали за ранеными. Границы между полорелевыми функциями, между понятиями о том, что пристало настоящей женщине, а что является прерогативой мужчин, размывались. Исполняя мужскую роль защитника, женщины бросали прямой вызов традиционным гендерным концепциям патриотизма и гражданства. Результат, как пишет автор, был в лучшем случае двойственным. Далеко не все принимали такие «неженские» роли, разделяли энтузиазм в отношении женского патриотизма. В любом случае, существование женских боевых частей в годы Первой мировой войны было явлением временным, реакцией на острую ситуацию. После окончания кризиса началось «возвращение к нормальности». На первый план снова выдвинулись традиционные мужские и женские роли (20, с. 3).

Трактовка Л. Стофф отражает ту линию в зарубежной историографии Великой войны, которая склонна акцентировать стабильность, а не изменения. В рамках другого направления, сосредоточенного на изучении стереотипов женственности, напротив, подчеркивается возникновение в годы войны и межвоенный период новых черт и даже моделей фемининности. Так, американская исследовательница Аллисон Белцер выделила четыре модели идеальной итальянской женщины, сформировавшиеся в первой четверти XX в.: *donna brava* (хорошая женщина) – функционирует в пределах семьи и ставит интересы своих близких выше собственных; *donna italiana* (итальянская женщина) – политически активная патриотка, для которой интересы государства превыше всего, даже в ущерб семье (тип, возникший в годы Первой мировой войны); *donna nuova* (новая женщина) – социально и экономически независимая, самостоятельная, в послевоенные годы ненадолго ставшая одним из идеальных женских типов. На смену новой женщине пришел иной идеал, активно насаждавшийся пришедшим к власти «гипермаскулинным» режимом Муссолини, – *donna fascista*. Этот тип соединял в себе традиционные черты «хорошей женщины», современные качества «новой женщины» и преданность государству итальянской патриотки военного времени (3, с. 2–7).

Схожую эволюцию можно предположить и в России/СССР. В монографии по истории моды упоминаются дискуссии о том, следует ли отказаться от западной моды в пользу русского народного костюма, который в 1910-е годы был распространен в среде националистически настроенных женщин высшего общества (17, с. 230). Здесь, равно как и между представительницами средних классов, активно трудившимися на благо общества в многочисленных комитетах, и следует искать патриотически настроенную «русскую женщину» военного времени. Черты «новой женщины» мы видим у пишбарышень и телефонисток, фабричных работниц, «запустивниц» Февральскую революцию, у юных большевичек и представительниц артистического мира, а «жены-общественницы» 1930-х годов подозри-

тельно напоминают женский идеал муссолиниевской Италии. Конечно, не следует повторять все (часто весьма спорные) построения зарубежных историков гендера. Речь идет о том, что как западная русистика, так и отечественная историография Первой мировой войны пока далеки от такого уровня обобщений. В нашей литературе можно встретить лишь немногочисленные описания деятельности в годы Первой мировой войны женщин-благотворительниц в той или иной провинции, биографические материалы о медицинских сестрах, о патриотическом и духовном служении представительниц императорской фамилии. Безусловно, эти работы делают важное дело, вводя в научный оборот массу фактов. Можно предположить, что в какой-то момент количество перерастает в качество, и женский опыт будет осмыслен в более широком контексте – например, в категориях патриотизма, нации и гражданственности.

Эти темы до сих пор чрезвычайно популярны в историографии Западного фронта. В русистике первые шаги в этом направлении были сделаны Мелиссой Стокдейл. В статье, опубликованной в ведущем американском историческом журнале, она рассмотрела тему женского патриотизма и перспективы обретения полного гражданства теми, кто его не имел (19). Война, пишет М. Стокдейл, предоставила такую возможность и женщинам, которые выполняли патриотический долг и жертвовали собой для родины наравне с мужчинами (19, с. 82).

К российскому материалу пока не была применена актуальная для историографии Западного фронта проблематика «национализации фемининности» (разные аспекты включения женщин в публичную сферу и государственное строительство). Зато была исследована проблема «национализации маскулинности» в России первой четверти XX в. (18). Монография американского историка Дж. Санборна имеет исключительное значение для понимания места Первой мировой войны в истории России, но практически неизвестна нашим специалистам. Между тем в этом серьезном и глубоком исследовании национально-государственного строительства в России вскрыт механизм формирования солдата-гражданина в эпоху национализма, показана роль гендерных концептов семьи, родства, братства в создании нации. В центре внимания автора находится армия, которая в условиях всеобщей воинской повинности, а затем тотальной войны играла ведущую роль в сплочении нации. Насилие, по убеждению Санборна, является главной, можно сказать, системной чертой нации (и национализма). Насилие, как военное, так и государственное, тесно увязывается Санборном с процессом выковывания в огне войн и революций начала XX в. идеала «настоящего мужчины».

Тема «гендер, национальная идентичность и война» исследуется зарубежными историками чаще всего на примере катаклизмов начала XX в. Тема насилия занимает в этих исследованиях ведущее место. В зарубежье

ной русистике, помимо замечательной книги Санборна, пока имеется лишь одно монографическое исследование такого рода. Это уже упоминавшаяся работа Карен Петроне, посвященная памяти об «империалистической» войне в СССР до 1941 г. В ней переплетаются категории гендера, этничности и класса; концепты героизма, патриотизма, религиозной идентичности анализируются в тесной связи с формированием нового советского идеала мужественности (точнее, множества новых типов советской маскулинности). В книге постоянно фиксируются сходства и различия советского и западноевропейского дискурсов о Великой войне. Автора поразило, насколько открыто и неприязненно говорится о насилии на войне в мемуарной литературе советских лет. В мемуарах показано разрушающее воздействие военного насилия на душу и тело человека, наконец, на его мужественность. Петроне отмечает «количество, качество и разнообразие» подходов к теме «германской» войны в советском дискурсе межвоенных лет, глубину проникновения в психический и физический мир солдата, серьезность анализа «лица войны» (15, с. 199).

В зарубежной русистике давно уже стало общепризнанным мнение: тогда как в европейской культуре межвоенного периода мифологизация Великой войны занимала центральное место, в СССР это событие оставалось за рамками официального мифотворчества, сосредоточенного на Октябрьской революции и Гражданской войне. Этим обычно и объясняется «исчезновение» Первой мировой из исторической памяти народа. Однако это мнение базировалось главным образом на анализе официальных источников. И только с привлечением литературно-художественных и мемуарных материалов, где государство было «вынесено за скобки», а в центр внимания поставлен человек, выяснилось, что память о Первой мировой в СССР долго была жива и удивительно многообразна. Ее вытеснил на обочину лишь опыт Великой Отечественной войны.

Память является сегодня, пожалуй, важнейшей темой зарубежной историографии Великой войны. Та «особая ситуация», которая сложилась с этой темой в России, требует глубокого и разностороннего изучения. Здесь многое можно было бы сделать, но для этого необходимо изменить систему координат. Для большинства наших историков точкой отсчета, ведущей творческой силой, а зачастую и единственным «творцом» российской истории остается государство. Именно поэтому у нас так востребована традиционная политическая история (давно отправленная на свалку мировой исторической наукой), сильны позиции не менее традиционного варианта социальной истории, оперирующей «людскими массами». Тема исторической памяти тоже исследуется «сверху вниз»: основное внимание уделяется государственной политике, а люди («население») выступают в качестве объекта правительственных усилий (см., например: 2).

Характерная для нашей историографии «одержимость государством» отражает, собственно говоря, состояние общества в целом. Государство и властные структуры представляются сегодня высшей ценностью, а интересы людей, их чаяния, трудности и беды считаются чем-то незначительным. Такие категории, как «индивидуальные интересы», «частные права» и т.п., почти испарились из публичного дискурса. «Частное», «индивидуальное» исчезает и из обихода – их заменяют «общие интересы», единые взгляды, с помощью которых устанавливается «диктатура большинства». Можно ли в таких условиях ожидать от историков обращения к аналитическому аппарату мировой науки, строящемуся «вокруг» человека, «завязанному» на частном, индивидуальном, – вопрос скорее риторический.

Список литературы

1. Асташов А.Б. Пропаганда на русском фронте в годы Первой мировой войны. – М.: Спецкнига, 2012. – 400 с.
2. Семянская Е.С. Память о Первой мировой войне в России и на Западе: Исторические условия и особенности формирования // Великая война: Сто лет / Под ред. М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка. – М.; СПб.: Нестор-История, 2014. – С. 251–270.
3. Belzer A.S. Women and the Great War: Femininity under fire in Italy. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010. – 282 p.
4. The Cambridge history of the First World War: 3 vols. / Ed. by Jay Winter J., Charles J. Stille Ch. J. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2014.
5. Cohen A.J. Imagining the unimaginable: World war, modern art, and the politics of public culture in Russia, 1914–1917. – Lincoln: Univ. of Nebraska press, 2008. – 420 p.
6. Fuller W.C., jr. The foe within: Fantasies of treason and the end of imperial Russia. – Ithaca: Cornell univ. press, 2006. – 304 p.
7. Gatrell P. The epic and the domestic: Women and war in Russia, 1914–1917 // Evidence, history, and the Great War: Historians and the impact of 1914–18 / Ed. by Braybon G. – N.Y.: Berghahn books, 2003. – P. 198–215.
8. Gatrell P. A whole empire walking: Refugees in Russia during World War I. – Bloomington: Indiana univ. press, 1999. – 318 p.
9. Gender and war in twentieth-century Eastern Europe / Ed. by Wingfield N., Bucur M. – Bloomington: Indiana univ. press, 2006. – 264 p.
10. Hagen M. von. War in a European borderland: Occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. – Seattle; Washington D.C.: Univ. of Washington press, 2007. – XII, 122 p.
11. Holquist P. Making war, forging revolution: Russia's continuum of crisis, 1914–1921. – Cambridge (Mass.), 2002. – 384 p.
12. Lohr E. Nationalizing the Russian empire: The campaign against enemy aliens during World War I. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – 272 p.
13. Lohr E. The Russian Press and the 'Internal Peace' at the Beginning of World War I // A Call to Arms: Propaganda and public opinion in newspapers during the Great War / Ed. by Paddock T. – Westport, Connecticut: Praeger, 2005. – P. 91–114.
14. Norris S.M. A war of images: Russian popular prints, wartime culture, and national identity, 1812–1945. – DeKalb: Northern Illinois University Press, 2006. – 277 p.
15. Petrone K. The Great War in Russian memory. – Bloomington: Indiana univ. press, 2011. – 406 p.

16. Reynolds M.A. Shattering empires: The clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 1908–1918. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2011. – XIV, 303 p.
17. Ruane C. The empire's new clothes. A history of the Russian fashion industry, 1700–1917. – New Haven: Yale univ. press, 2009. – 256 p.
18. Sanborn J. A. Drafting the Russian nation: Military conscription, total war, and mass politics, 1905–1925. – De Kalb: Northern Illinois univ. press, 2003. – 288 p.
19. Stockdale M. «My death for the Motherland is happiness»: Women, patriotism, and soldiering in Russia's Great War, 1914–1917 // American historical review. – Wash., 2004. – Vol. 109, N 1. – P. 78–116.
20. Stoff L. They fought for the motherland: Russia's women soldiers in World War I and the revolution, (1914–1920). – Lawrence: Univ. press of Kansas, 2006. – 304 p.
21. Stoff L. The «Myth of the war experience» and Russian wartime nursing during World War I // Aspasia. – N.Y.; Oxford, 2012. – Vol. 6. – P. 96–116.